



«И странным виденьем
грядущей поры
вставало вдали
все пришедшее после...»

— Евгений Борисович, вы находите в себе какое-то внутреннее сходство с отцом?

— Я не назвал бы это сходством... Все в натуре отца было подчинено его гению. Он был человеком необычайной доброты и открытости, в переладкинский дом или московскую квартиру мог прийти любой — и по первой просьбе отдавались последние деньги или что-то из гардероба. Но Пастернак стремился ограничивать общение, потому что работал, и когда работа шла, интенсивность ее была невероятна. «Фауста» он переводил по триста рифмованных строк в день, чтобы за два месяца закончить перевод и год потом жить на гонорар, писать роман и ни на что не отвлекаться. Так что если он не принимал кого-то или не выходил к посетителю, это происходило не от замкнутости или высокомерия, но все от той же подчиненности своему делу. Когда ему не писалось — во второй половине тридцатых, например, — он не мог спать, не ел, мучился головными болями... Зато когда наконец приходило ощущение своей силы — он становился словно орудием в Божьих руках и сам не предвидел результата, и никаких хворей, телесных или душевных, не было в помине.

После тяжелого инфаркта в 1952 году ему запретили работать, но он через год стал выправлять и перебивать «Фауста», снова сидел за столом по двенадцать часов в сутки, параллельно обрабатывал черновики романа — и за два месяца встал на ноги. Никто в это не мог поверить — он выглядел здоровее прежнего. Настроение, круг и интенсивность общения, физиология — все определялось гениальностью, и когда, например, говорят, что Пастернак обожал купаться в ледяной воде и это вошло у него в привычку, — меня это здорово смешит. Он действительно до войны по утрам окунался, пока река не замерзла, но не по прихоти или ради собственного здоровья, а исключительно для того, чтобы лучше работало весь день. Это его бодрило. Если бы для этого потребовалось нырять в кипяток — он нырял бы. Так что никакого сходства натур здесь быть не может. Возможна внутренняя близость: читая отца, я всегда и во всем понимаю его. Мне кажется, я вижу, что служило толчком, иногда словно восстанавливаю пропущенные звенья в движении мысли... После войны я служил в Забайкалье, страшная глушь, настроение у меня было чрезвычайно мрачное, и как-то ночью я раскрыл сборник отца на стихотворении, которое никакого отношения к моему тогдашнему состоянию не имело; кажется, это были «Волны»... И оторвавшись от книги, я огляделся и понял, что могу жить.

— Это ощущение жизни как дара вам тоже присуще?

— Да, жизнь и надо воспринимать как дар, я убежден в этом, и такое отношение к миру давалось мне естественно, без усилий — до восьмидесяти седьмого года. Тогда, работая над книгой об отце, я очень тяжело болел, перенес клиническую смерть, меня с трудом вернули к жизни... После той болезни мне труднее чувствовать этот праздник, да и жизнь вокруг нас становится все более мрачной и болезненной. Кстати, муж моей дочери, сам литератор, сказал однажды, что «Доктор Живаго» — последнее здоровое произведение в русской литературе.

— Вы перенесли тяжелую болезнь почти в том же возрасте, в каком оказался в больнице Пастернак: вам было шестьдесят четыре, ему — шестьдесят два...

— Самое поразительное, что тот свой инфаркт он перенес не только с небывалым мужеством, но и с тем же ощущением мира как Божьего подарка. Оно особенно обострилось у него в первую больницу ночь. Об этом есть письмо к Нине Табидзе, есть стихотворение «В больнице» — отец лежал в коридоре переполненной Боткинской больницы, и в перерывах между приступами боли и тошноты его охватывало блаженное умиротворение, восторженная благодарность за свою судьбу, чувство причастности к Божьему чуду. «Мне радостно в свете неярком, чуть падающем на кровать, себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознать» — этим ощущением проникнут «Доктор Живаго». Даже в последние годы меня поражала в Пастернаке его открытость, несмотря на ужасы травли. Сейчас опубликованы документы: на отца завели уголовное дело по обвинению в государственной измене. Ему вполне реально угрожала либо насильственная высылка, либо тюрьма. Его взяли прямо с прогулки и привезли к самому Руденко — тогдашнему генеральному прокурору. Тот шантажировал отца главным образом судьбой близких, прежде всего — судьбой Ольги Ивинской. Отец и так считал себя перед нею в долгу: ему казалось, что в сорок восьмом ее аре-

стовали из-за него, что она вместо него отсидела... Именно ради нее он отказался от Нобелевской премии, чего сначала не хотел делать ни на каких условиях. Он позвонил ей и спросил: как мне поступить? Она ответила: не буду говорить о том, что угрожает тебе, ты не боишься за себя; но меня уничтожат. Она не ошиблась: не прошло и трех месяцев после смерти отца, как ее арестовали снова.

Поводом же к возбуждению дела против самого Пастернака послужил эпизод одновременно страшный и анекдотический: Пастернак передал корреспонденту «Дейли мейл» несколько своих стихотворений для сестры, которая жила за границей. Там была и «Нобелевская премия». Корреспондент не просто опубликовал эти стихи, но что никто ему права не давал, но еще и снабдил комментарием: строчки «Силу подлости и злобы одолеет дух добра» он интерпретировал как намек на противостояние России и Запада, который одолеет коммунистическое зло. Это оказалось достаточно, чтобы Руденко два часа орал на отца и запугивал его. Сразу после этого отец поехал к нам и все рассказал. Конечно, он опасался за нас, но я отчетливо помню, что он не выглядел ни подавленным, ни испуганным. Напротив, я редко видел его таким трагически-высоким, таким открытым. Это было четкое сознание своего выбора, своего жребия, высоты своей роли. Его душа спасалась сознанием исполненного предназначения, но тело не выдержало пытки. У него развился рак легкого с метастазами в область сердца, и профессор, которого я к нему возил, сказал твердо: это вызвано невыносимыми обстоятельствами жизни,

страшным психическим напряжением.

— С чем вы связываете мощный духовный подъем, пережитый Пастернаком после войны?

— Он начался еще до войны, в тридцать девятом — сороковом годах, и сменил страшный кризис тридцатых, когда Пастернака сперва возвышали и ждали от него славословий, а потом корили за субъективный идеализм и ограниченность миром личных переживаний. Отец полагал, что искусства не существует без риска, без отваги. Дозволенного искусства он не принимал. Тогда по заказу Мейерхольда он стал переводить «Гамлета», стремясь возродить, в противовес официозному, истинно народный шекспировский театр. Мейерхольд смог бы это сделать, но он был арестован и расстрелян, его жену зарезали на лестнице их дома... Отец переводил «Гамлета», находя в Шекспире источник силы и духовной независимости. Сразу после «Гамлета», перед войной, появился весь переладкинский цикл — «Сосны», «Вальс со слезой», «Вальс с чертовщиной»... Это был уже новый Пастернак. Особенно чуткий к духу времени, он во время войны разделял со всей страной ее невероятный подъем. После войны Россия и в самом деле была страной победителей, и созидательный заряд людей, вернувшихся с фронта, был таков, что предощущение свободы носилось в воздухе. Это поколение Сталин задушил во имя собственной власти, и ко времени хрущевской оттепели лучшие были выбиты, а запал истратился. Ко времени восьмидесятых тогдашние победители — те, кто дожил и не попал в лагерь — в массе своей превратились в чиновников

В сороковые годы Россия была действительно великой.

10 □ Собеседник 21'94

и апологетов режима. Но я помню середине сороковых и знаю, что более великой Россия в двадцатом веке не была. Отец чувствовал это и сумел написать роман, о котором мечтал всю жизнь.

— С чего вы начали читать отца?

— С книг, написанных для меня. Он выпустил две детские книжки в 1925 году, как бы на вырост, и первой, которую я прочел, был «Зверинец». Потом я читал почти все новое, что он писал, и даже роман умудрялся читать по главам, приезжая в Москву из мест, где служил. Я виделся с ним в детстве каждую неделю, хотя с тридцать первого года отец не жил с нами. Он разошелся с мамой не потому, что разлюбил ее. Это не был разрыв с полным прекращением отношений. Главным, конечно, был роман с Зинаидой Николаевной Нейгауз. Но не менее важной причиной этого разлада был быт, полная неустроенность: моя мама, Евгения Пастернак, была талантливой художницей, комната одна, работать обоим негде, им скоро стало тесно вместе.

После развода отец частенько приходил к нам, и у него не было секретов от первой семьи. Не могу сказать, чтобы он как-то специально меня воспитывал. Сам он формулировал свою педагогическую программу предельно просто: «Я учу их не мешать взрослым работать». В широком смысле это была школа невмешательства в чужую жизнь, он учил ни на кого не давить и не мешать никому жить.

Разговоры наши в тридцатые годы происходили в основном во время прогулок, но часто он приводил друзей, гостей, тех, кого хотел нам показать. Однажды, в сороковом году, привел Марину Ивановну Цветаеву и ее сына Мура — дочь и муж ее были уже арестованы... Мы долго сидели за столом — чай, обед, снова чай, — Марина Ивановна держалась очень сдержанно и аристократично, этим аристократизмом и осторожностью она запомнилась, а с Муром я успел поговорить более откровенно, мы были ровесниками. В те времена в школах очень жестоко дрались — во время перемены класс ходил на класс, на кулачки, и вообще драка была частью обихода. Его били в школе, и он спрашивал у меня совета, как поступить в этой ситуации. Сам он отнюдь не был трусом — я его помню храбрым, решительным и эгоцентричным.

— Как получилось, что вы — внук знаменитого художника и замечательной пианистки, сын великого поэта и художницы — стали военным?

— Военным я был до 1954 года, и случилось это потому, что перед самой войной я окончил школу и поступил в МГУ, на физико-математический факультет. Нас эвакуировали в Среднюю Азию, и там всех студентов технических вузов автоматически перевели в военную академию. Я попал таким образом в инженерно-танковую службу, занимающуюся ремонтными работами. На фронт нас не послали, я учился в академии, а после войны нас не отпустили. Позже я приехал в Москву, работал в разных институтах, стал кандидатом технических наук, а от армии осталось у меня только звание инженер-майора. В семидесятые годы я занимался в основном подготовкой собрания сочинений отца, пытался пробить роман и писал книгу «Материалы к биографии Бориса Пастернака». Она издана мизерным тиражом пять лет назад и с тех пор не переиздавалась, но на Западе ее считают одной из удачных документальных работ о Пастернаке. Сам я тогда оставил основную специальность и стал младшим научным сотрудником Института мировой литературы.

— Я не могу не спросить вас, как вы относитесь к ситуации вокруг архива Пастернака, который «делают» Ивинская и государственное хранилище...

— Я написал письмо, в котором отказываюсь от всяких притязаний. По-моему, лучше любое решение спорного вопроса, чем скандал вокруг такого имени, как имя Пастернака.

— Вам когда-то мешало, что вы его сын? Я имею в виду чисто социальные и бытовые проблемы...

— Нет, никогда. Допустим, меня не пускали за границу: что ж, многих не пускали, они не были детьми Пастернака, так что у меня есть даже преимущество, компенсация...

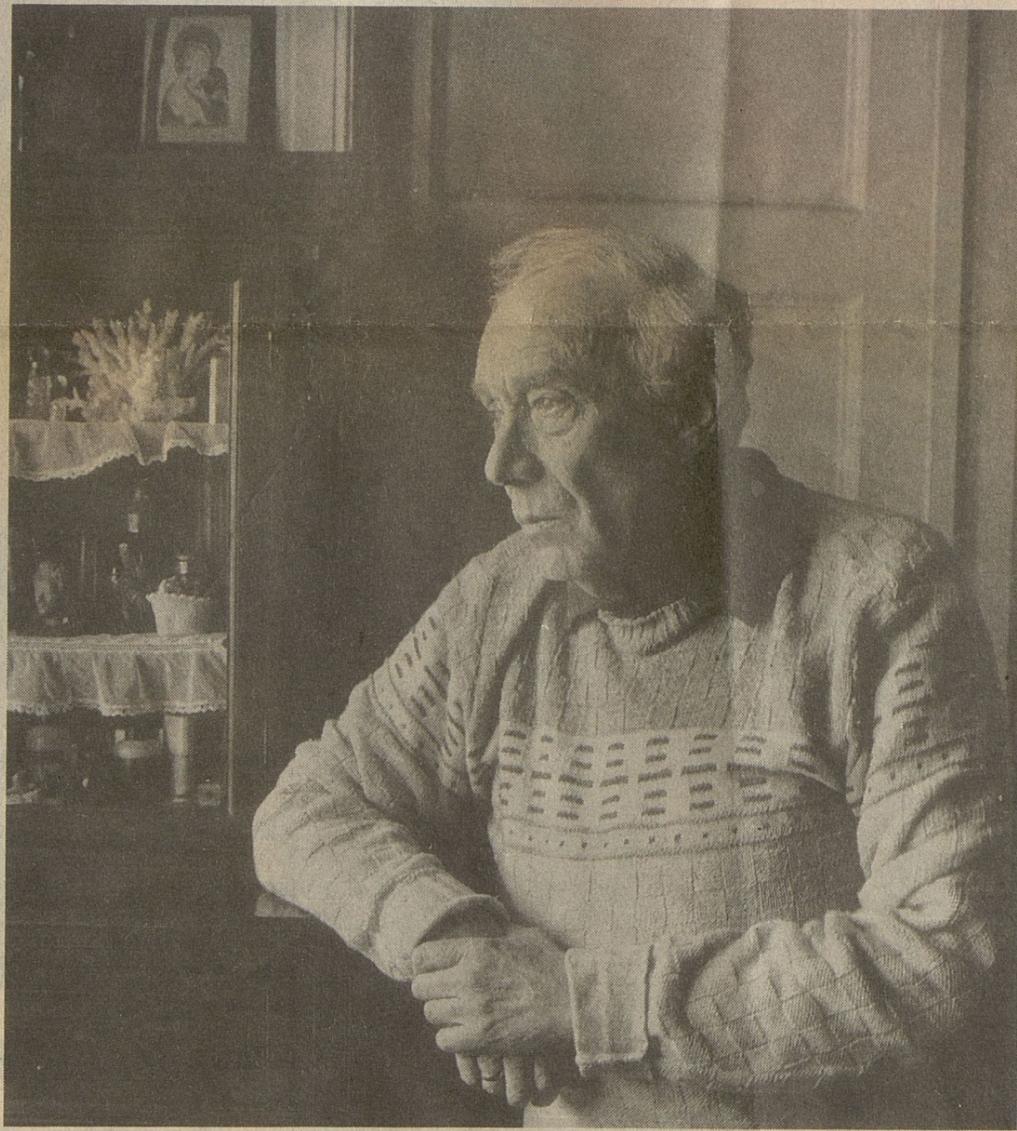
— Как по-вашему, он верил в бессмертие души?

— Он был верующим человеком, но его концепция бессмертия, думаю, несколько отличается от церковной. Она сформулирована в романе: вечная жизнь есть в памяти, в наследии, в детях... Она — в том, что остается. В творчестве — прежде всего. И чем полнее выражен творец в творчестве, тем полнее это второе, бессмертное существование. Вот в такое бессмертие он верил абсолютно.

Беседавал
Дмитрий БЫКОВ.

Фото Андрея КУЗНЕЦОВА.

ПАСТЕРНАКА



Андрей Синявский рассказывал такую историю. В 1965 году он писал предисловие к тому Пастернака в большой серии «Библиотеки поэта» — первому крупному его сборнику после страшной эпопеи с «Доктором Живаго». Само Пастернака уже пять лет, как не было в живых.

Синявский жил за городом, на чьей-то даче. Они с женой вышли прогуляться по окрестностям, а когда вернулись, к двери была прикреплена записка почерком Пастернака и без подписи. В записке выражалась благодарность за прекрасную статью. Увидев лебединый, с длинными козырьками над «б», с длинными хвостами к «з» почерк, Синявский едва не упал в обморок.

— Ты представляешь, — сказал он жене, — он приходил, а меня дома не было! Записку, как выяснилось потом, написал сын Пастернака, Евгений Борисович, чей почерк в самом деле неотличим от отцовского. И сегодня, когда я сижу напротив пастернаковского первенца, ныне семидесятилетнего, я не могу стряхнуть оцепенение: это сходство нереально. И не столько внешнее — длинное темно-смуглое лицо, несколько впалые щеки, сияющие глаза, — сколько речевое: я много пастернаковских стихов и выступлений слышал в записи и знаю это мычанье в поисках слова, протяжную, медленную, с повышением интонации в конце строки, ветвящуюся речь. Голос у Пастернака в старости был именно такой — высокий, этим голосом он начитывал на частные магнитофоны стихи из последних циклов. Подобный шок при общении с его старшим сыном испытывали все, но к такой буквально-сти повторения я не был готов.

3 Пастернак Борис

104

3